Проза БЭНД Александра Кулагина

## **Александра Кулагина**

Родилась и выросла в Сочи. С 2017 года живёт в Германии, работает юристом. Окончила факультет общего и сравнительного литературоведения Мюнхенского университета. В свободное от работы время переводит художественные произведения, пишет рецензии, прозу и стихи. Выпускница литературных школ «Мне есть что сказать», Band и Creative Writing School.

**Граница**

Границы моего языка означают границы моего мира.

Людвиг Витгенштейн

*Логико-философский трактат*

Меня начало укачивать. Мы ехали в отцовской «Ниве». Отец за рулем, я — на своем обычном месте: сзади, прижатый его креслом. Было неудобно, но зато так его взгляд меня не доставал.

Я смотрел на дорогу и старался не выпадать из ритма серпантина, знакомого с детства. Хотелось домой. Обрубок зеркала заднего вида отражал бурые горы, пачкая белое лобовое стекло — как след от сигареты на подоконнике. Вот бы отец развернул машину и отвез меня обратно. Даже рискни я попросить, он бы все равно сделал вид, что меня не понял.

В салоне становилось душно. Я глубоко вдыхал влажный воздух приоткрытым ртом. На вдохе тяжесть внутри рассасывалась, и меня как будто отпускало. Но на выдохе тошнота придавливала опять. Я в надежде посмотрел на коричневое зеркало. Вот бы улизнуть через него домой. Уползти от отца, как сигаретный дым через форточку. Границу реальности всегда можно пересечь в обход, я это точно знал. Но вопрос был только в том, чего мне это будет стоить.

«Нива» круто повернула направо, вниз по серпантину. Зеркало ахнуло, побелело и слилось с небом. Портал домой растворился. Я схватился в голове за оставшееся от отражения слово «горы» и стал переводить его на те языки, которые учил. Перескочил через одинаковые романские, все «mont»-янущиеся последней буквой общего корня вверх, за пределы строки. Остановился на немецком «Berge». Начал навешивать на слово всякие побрякушки, префиксы и суффиксы, бережно вывернул наизнанку инфинитив, и с интересом рассмотрел получившееся у меня уютное «Geborgenheit»[1]. Почувствовал, что, сегодня стоило остаться в горах.

Но сегодня был отцовский день, а значит, надо было на море. К счастью, в последний раз. Через неделю мне исполнится восемнадцать, так что больше никакого моря. Только, если я вдруг сам захочу.

Я закрыл глаза. Попытался вспомнить первый раз: ничего конкретного, кроме матери, провожающей нас до порога дома. Почему она вообще меня с ним пустила? Придумала бы что-нибудь. Что опасно, например, в его состоянии. Вместо этого она ловко поделила с ним мое время. Как батон колбасы. Половина — ей, половина — отцу. Мне же — жирный жгутик с целлофановой юбочкой. Думаю, мать просто сжалилась над ним. Удобно, конечно, — сначала самой выставить его из дома, а потом за мой счет жалеть. Мне отца жаль не было.

Я резко открыл глаза. Она ему «его» дни в календаре обвела? Читать в то время, даже цифры, было для него «со звездочкой». Перепуталось бы все, как в кабинете у окулиста. Тройка, шестерка или восьмерка — видно только, что есть пузико, а дальше все плывет. Откуда он тогда знал, когда были «его» дни? Иногда мне казалось, что ему просто удобнее было притворяться, что он такой несчастный инвалид. Так или иначе, воскресенья всегда проходили по его правилам.

Пустые дни. Их незамысловатый распорядок я давно выучил наизусть, как плохое стихотворение: машина — дорога — пляж — машина — дорога — дом. Во время прогулок с отцом происходило ровным счетом ничего. Он почти все время молчал и лишь изредка выдавливал из себя какое-нибудь безличное предложение про погоду. В этих воскресеньях не было совершенно никакого смысла. Во всяком случае для меня. Я догадывался, что у отца была своя цель: показать моей матери, что он тоже «право имеет». С этим поездки на пляж справлялись отлично. Что о них думал я, никого не волновало. Мое дело было — залезать в «Ниву», а потом на пляже, как пес, покорно трусить за отцом по команде «рядом». При этом помалкивать, чтобы его не злить. Мало ли что он может выкинуть. Отцовское молчание не было той уютной тишиной, на фоне которой можно было бы спокойно бродить в своих мыслях. Рядом с ним надо было быть начеку, потому что никто, даже сам отец, не знал, что не понравится ему в моем поведении в следующий момент. Его гнев был молчаливым и непредсказуемым, но вполне реальным.

Серпантин закончился. Мы наконец спустились на равнину и ехали теперь прямо, пока не свернули на гравийную дорогу, зажатую с обеих сторон кустами колючей ожины и одинокими пальмами. Дорога посопротивлялась, но в конце концов вывела нас к пляжу. Отец заглушил двигатель. Его голова с редким щетинистым бобриком выглядела как заснеженная опушка с тонкими осинками. Над левым ухом темнела уродливая прогалина — выпуклый, похожий на толстую личинку, шрам уползал куда-то вниз.

Отец замер на несколько секунд, пялясь в окно. Казалось, сегодня он был особенно не в духе. Чувствовал, наверное, что больше никогда меня сюда не затащит.

«При… при… ха… хале́прили», — пробуксовал он наконец. Я спросил себя, зачем отец иногда так попусту расходует силы. То, что мы *приехали*, было и так понятно, можно было зря не напрягаться.

\*

Я не помню, в какой момент мы с матерью научились разбирать его новую, разваливающуюся на части речь.

Иногда отец просто переставлял буквы в слове. Тогда догадаться было легко, особенно по ситуации. Загадочную серую «хмуру» в саду мы легко могли развеселить осенью до румяной сладкой «хурмы».

Но иногда даже похожих букв в слове не оставалось. Вместо них виднелась лишь тень изначального слова, мелькало отражение в мутном зеркале, слышался аромат духов в пустом лифте. В заново составленных отцом словах угадывалось *намерение* изначального слова. Тогда понять отца было сложнее. Он звучал порой так, будто впервые читал на иностранном языке: с недоверием, осторожно, прицениваясь, складывая слоги друг на друга, как кубики в шаткую башню. Бывало, мы с матерью гадали с ним, как с ребенком, — что ты хочешь? Машинку? Водичку? — перебирая десятки слов, пока отец от бессилия не рассыпался на нас градом звуков и не уходил в другую комнату, захлопывая за собой дверь. Отголоски этих звуков потом больно звенели в моем покрасневшем ухе.

Так было, пока он наконец не попал к Людмиле Геннадьевне. Пациентов типа отца она просила по понятной причине обращаться к ней просто «Люда». У отца, несмотря на поблажку, все равно настойчиво выходила «Юбда». Иногда, когда матери не с кем было меня оставить, я сидел у Юбды в кабинете и слушал, как они с отцом занимаются.

Имя «Юбда» шло ей даже больше, чем неподвижное, будто выведенное на кладбищенском граните «Людмила Геннадьевна». «Юбда» звучало дерзко, рублено, квадратно, меняя направление с вертикального «юб» на перпендикулярное ему «да». Я видел эту же подвижность в прямых углах Юбдиной массивной челюсти, которая двигалась пугающе активнее, чем верхняя часть ее лица. Из-за напряженной артикуляции Юбде приходилось постоянно подкрашивать губы помадой Ruby Rose. Меня раздражало, что итоговый фиолетовый оттенок на губах не сдерживал рубинового обещания на тюбике. В остальном, Юбда мне нравилась. Она была терпеливой с отцом, не подгоняла его, хвалила даже там, где хвалить было в общем-то не за что. Но главное — Юбда всегда верно догадывалась, что хотел сказать отец. Бессмыслица, которую он выплевывал, была для нее не просто набором звуков, а частью огромного, видимого только ей мира. Морем без берегов, которое не утекало в хаос только потому, что крепко держалось якорями за дно из знаков и отсылок.

Так, Юбда раскладывала предметы на столе и просила отца назвать, что он видит. Отец начинал щипать какую-нибудь вещь за ее акустику.

— Черона́с, — утвердительно и немного скучающе. — Черна́л? — теперь настойчиво, но в то же время вопросительно.

Юбда клала темный анапест в пенал и произносила, избавляя слово от отцовских издевательств, — «Ка-ран-да́ш».

— Ну, да, черна́ш — каранда́ш!

У отца в голове это, очевидно, звучало одинаково.

Если у него никак не получалось вытащить нужное слово из вязкого мазута сознания, Юбда иногда разрешала ему прикоснуться к предмету, который он пытался назвать. «М-у-л-ь-т-и-м-о-д-а-л-ь-н-о-с-т-ь», — говорила она. Слово мне нравилось, возможно, из-за намека на мультики. Юбда говорила, что, подключив к речи осязание, можно обмануть свой мозг. Повести его по другой тропинке. Показать ему мир через новое окно: не темное, заросшее виноградными листьями и паутиной, а прозрачное и светлое, только что вымытое скрипучей газетой. «Ну и миру показать, кто тут главный. Руки — твой новый язык», — напутственно говорила она отцу.

Так, однажды отец взял со стола спичечный коробок, зажал между пальцами левой руки, а правой неловко вытолкнул поддончик со спичками. Вдруг тактильный обман сработал — отец быстро выудил спичку и чиркнул ей о боковинку коробка. Спичка зашипела, как испуганная кошка.

— Шпииичка, — гордо повторил за ней отец и криво улыбнулся уголком рта.

В общем, без Юбды отец бы пропал. Да, и мы с матерью тоже. Хотя, возможно, все было бы совсем наоборот, если бы язык остался в голове, а не попал к отцу в руки.

\*

Я отстегнул ремень безопасности и вылез из «Нивы». Вдохнул холодный воздух. Дорожная тошнота куда-то сорвалась, но тут же, прижав уши, вернулась на место, едва отец сунул мне в руки пропахшую псиной куртку.

— Мне вроде и так тепло, — четко выговорил я каждое слово. Отец сделал вид, что меня не понял.

Стараясь не вдыхать смрад невидимого животного, я натянул полиэстер и поплелся за отцом вниз, к пляжу.

Пляж был дикий. На самом деле, выглядел он вполне цивилизованно, просто назывался так, поскольку не принадлежал ни городу, ни санаториям. Странная мысль: я же не менее цивилизованный, даже если предпочитаю быть сам по себе? Хотя я и ухмыльнулся оскалившемуся из зарослей псевдониму Костя Sauvage[2]. Делает ли меня более культивированным чья-то власть надо мной? Казалось, что зависеть от человека, с которым совершенно не о чем говорить, означало делить с ним примитивность пополам.

Мы спускались с холма, на котором с левой стороны торчал тоскливый санаторий «Электроника». Название растянулось во всю ширину здания. Шрифт пытался быть строгим, как электронные цифры будильника. Как-то в детстве я очень долго не отрываясь смотрел на такие часы у бабушки в спальне, пока цифры вдруг не распались на цепи из зеленых сосисочек. С тех пор электронный шрифт перестал казаться мне серьезным. Так и с отцом. Мы с ним бывали на этом пляже слишком часто для того, чтобы я еще надеялся, что в этом появится какой-то смысл.

Мы прошли между многоэтажных эллингов, обитых выгоревшим за лето бирюзовым профнастилом. Затем нужно было преодолеть кусачую сетку-рабицу и перебежать железную дорогу. Бежать было на самом деле не обязательно — красномордые электрички проезжали редко — но я на всякий случай все равно старался не задерживаться на рельсах. Отец же как будто специально дразнил судьбу и оставался там подольше, слушая, не приближается ли поезд.

Затем мы спрыгивали с железнодорожной насыпи на буну, направленную в море, как длинное ружье. С нее на серый пляж спускалась узкая ржавая лестница. Мне казалось, я знал здесь каждый камень.

Половина пути пройдена, подумал я. Послоняемся еще немного, и я наконец скажу этому месту ¡Adiós![3]. Но отец был в этот раз каким-то странно неторопливым. Он делал по несколько коротких шагов, останавливался и смотрел на море, будто надеясь, что с нового ракурса оно станет совсем другим. Море сонно позволяло себя рассматривать, но меняться не собиралось. Я тоже взглянул на воду из-за отцовского плеча. Неспокойно как-то. Наверное, мне просто не терпелось поскорее вернуться домой. Но было там впереди и что-то еще. Я не совсем знал, как это сформулировать. Мой взгляд метался вдоль трех серовато-зеленых полос пространства — неба, моря и пляжа, пытаясь зацепиться хоть за какую-то деталь, за что-то частное в абстрактном. Это было одно сплошное *ничего*, которое никак нельзя было уместить в каком-нибудь безопасном емком словце.

В этот момент я услышал музыку. Она доносилась с другого конца пляжа. Вместе с ней в нашу сторону двигались три человеческие фигуры. Впереди вприпрыжку шел мальчишка лет десяти, периодически приседая на корточки и собирая в ладошку матовые зеленые камушки, бывшие когда-то осколками пивных бутылок. За ним неспешно, при каждом шаге проваливаясь в гальку, как в свежий снег, шли, судя по всему, его родители — лысый мужчина с толстой шеей, сдавливаемой воротом черной кожаной куртки, и немолодая женщина в розовой вязаной шапочке с помпоном. Я подумал, что так, наверное, выглядят все сибиряки. Отдыхающие, которые приезжали на юг зимой, по моему мнению, могли быть только из тех краев. В руке мужчина держал телефон, из которого вырывалась звуки курортного хита: «*А ты стоишь на берегу в синем платье, пейзажа краше не могу пожелать я…*». Мужчина насвистывал мелодию. Жена держала его под руку, блаженно улыбаясь и, кажется, пропуская мимо ушей куплет, где у лирического героя «*в бесшабашной любви получилась ничья*», ведь его «*с курорта ждут сыновья*».

Проходя мимо нас, мужчина вдруг убрал телефон в карман и достал оттуда небольшой мандарин, на вид абхазский. Принялся аккуратно очищать его, стараясь снять тонкую кожуру целым куском. «Видала?» — он гордо повертел оранжевой тряпочкой перед лицом своей жены, а затем, не глядя, швырнул ее себе за спину. Шкурка осталась ошарашенно лежать ярким пятном на сизых камнях. «Бздыхи», — процедил я себе под нос. Любитель шансона выглядел угрожающе, поэтому на большее, чем этот тихий комментарий я не решился.

В этот момент мужчина с женщиной нагнали мальчика, который сидел над одним щедрым месторождением пивных изумрудов. «Держи, археолог».

Мандаринка хлопнулась мальчику в руку.

Целиком. Не пара долек, даже не треть и не половина. Вся. Полностью. Без остатка. «Спасибо», — просиял мальчишка. Мужчина довольно крякнул, вытер липкую руку о куртку и полез в карман за телефоном, который уже успел переключиться на следующую песню. Я наблюдал, как они медленно удалялись и уносили с собой новый куплет.

Я подобрал мандариновую кожуру и сунул ее в карман. Затем взглянул на отца. Он продолжал стоять и смотреть на горизонт, как будто вовсе и не заметив прошедших мимо людей. Я вздохнул. Почему с ним всегда должно быть так тяжело. Я спрятал нижнюю половину лица в высокий ворот спортивной куртки и пытался согреться собственным дыханием, терпеливо ожидая, когда отец нагуляется. У берега море взбивало пахнущую металлом пену. Вода была того цвета, который покидал ведро, когда мать заканчивала мыть полы. Навязчиво курлыкала под кроссовками галька. Ее невозможно было заткнуть, как бы аккуратно я ни ступал. Но еще больше меня раздражало отцовское молчание, непонятное варево, булькающее примитивными мыслями, как жидкая каша, глубоко у него внутри. Неужели и сегодня он мне ничего не скажет? Не будь наивным. Сейчас дойдем до забора и обратно. В последний раз. Молча. Без шанса хоть на какой-нибудь разговор. Без слов, добрых или озлобленных — любых. Слов, которые я бы вспоминал потом всю жизнь, прокручивал бы в голове отцовским голосом. К которым я бы возвращался, не зная, как мне быть. Из которых я смог бы построить себя, дать себе наконец определение. Которые позволили бы мне вообще быть.

Но все закончится вот так. И не потому, что отец не может. Просто сказать ему мне совершенно нечего. По его мнению, я не достоин даже шансонного припева.

*It is a tale*  
*Told by an idiot, full of sound and fury,*  
*Signifying nothing.*[4]

У меня в носу защекотало. Картинка размылась. Я нарушил команду «рядом» и отошел немного вперед, к забору санаторного пляжа. Опустил голову и стал рассматривать мутную гальку. Затылком я чувствовал, как отец буравит меня взглядом, следя за каждым мои движения. Вот бы он хотя бы раз с такой же внимательностью послушал, что я хочу ему сказать.

Я быстро вытер нос о ворот куртки и вернулся к отцу, который уже перевел взгляд на санаторные пляжи. Они были отделены символическим забором — в щели между прутьев спокойно пролезал взрослый человек. Пляжи по ту сторону, казалось, были идеально выровнены, даже несмотря на зиму.

О чем отец думал в этот момент? Мне казалось невозможным, что у него могли быть какие-то *сложные* мысли. Как можно серьезно размышлять о мире, смерти, любви, наших с ним отношениях в конце концов, когда у тебя просто нет на это слов? Когда у тебя внутри только детский вокабуляр, а остальное — хаотичный шум. Я попытался представить себе, как это должно ощущаться. Как мои сны? Казалось бы, абсолютно логичные, но едва открываешь глаза и пытаешься кому-то их пересказать, осознаешь, как сильно обманулся; теряешься, цепляешься за настырный образ или слово, даже скорее символ или знак, который описывает так хорошо всю глубину виденного. И крутишься вокруг этого символа, суешься носом в него, как собака, пытаешься найти, где у него дверца, как войти, как рассказать стройнее, чтобы все поняли. А он с каждой попыткой бледнеет, и превращается в итоге в вялое воспоминание о самом себе.

Вдруг порыв ветра залез мне под куртку, прогнав собачий запах. В то же момент отец вздохнул и что-то тихо сказал. Из-за рыкнувшей рядом с нами волны я ничего не смог разобрать.

— Ва́ий, — повторил отец, на этот раз громче, чтобы я точно услышал.

У отца был мягкий рот, в котором шлепался такой же мягкий язык. Левая сторона рта подергивалась. Идти? Куда? Vai a casa?[5] Он меня наконец отпускает? Я ничего не понял. Отец достал из кармана пачку сигарет и отсыревший спичечный коробок. Зажав между губ сигарету, он пытался вычиркнуть спичкой искру. Затем он указал куда-то вперед. Я проследил за траекторией его руки. Она уперлась в одну из санаторных бун. Сверху у буны была пристройка из редких деревянных балок.

В этот момент Юбда вынырнула из серой воды и подала мне со дна моря зацепку, ржавый крючок. Мне стало не по себе от того, *что* она предлагала мне с этого крючка снять. Я смотрел на пристройку на буне тысячи раз, но никогда по-настоящему не видел. Она не существовала для меня, до того момента, пока отец не назвал ее снова по имени.

Ва́ий. Мои руки по локоть в мутной воде. Я нащупываю по середине ударение. Рай? Вытаскиваю на поверхность чайку, попавшуюся на Юбдин крючок. Ей место в воздухе.

Аэрарий.

\*

«Аэрарий». Слово больше не из моей жизни. Такое легкое и беззаботное. Слово-наслаждение. Как само детство. Синий свет в глазах после сна на солнце. Мама, пахнущая кремом от загара, или крем от загара, пахнущий мамой. Раскаленная кожа с крупинками соли на белых волосках. В заиндевевшем вафельном стаканчике — сосок пломбира. Я не мог осилить четыре слога и называл его просто — «рай».

Сколько мне было? Года четыре? Я разглядывал внутреннюю сторону солнцезащитного зонтика. Белые и желтые треугольники закручивались от бриза влево, но быстро отскакивали обратно. На коленях лежал картонный букварь с подмоченными краями. За острую «А» отвечал почему-то круглый арбуз. Рядом с пляжем была лодочная станция. Белозубые спасатели затаскивали в гараж лодки-моторки и педальные катамараны. Моторки плевались на гальку мазутом и осложняли мне охоту за зелеными камушками.

Над той лодочной станцией тоже был аэрарий, вернее, воспоминание о нем. Деревянный пол прогнил, образовались дыры — в них показывали небо, если смотреть с нижней буны. На аэрарий никого не пускали, но мальчики постарше все равно залезали. «Дебилы, — говорила мама, — а если арматура». Каждый местный ребенок знал байку про мальчика, напоровшегося на подводный штырь.

В тот день на папе были красные плавки. Поэтому мы и не сразу заметили, что случилось. Мы с мамой стояли на нижней буне, она держала наготове фотоаппарат-мыльницу. Папа вроде хотел, чтобы она поймала, как он прыгнет с того самого аэрария и войдет в воду «рыбкой», мускулистой барабулей. Я не помню, что было до буны. Но я четко ощущал, как что-то переменилось между взрослыми и стало неправильным. Граница натянулась и порвалась. У матери между бровей появились две вертикальные линии, и она стала похожа на испуганную полосатую кошку. Свободной от мыльницы рукой она молча гладила загорелое предплечье, на котором проступали синяки. Как-то зло она смотрела вверх на папу. Я не мог себе этого объяснить, но почувствовал: по ту сторону моего детского мира было что-то еще.

Мама сказала мне стоять аккуратно, на сухом. После вчерашних волн на буне образовались лужицы. В них росли невидимые, но скользкие водоросли. Я не слушался, ковырял в лужице большим пальцем ноги и пропустил, как папа прыгнул с аэрария.

Но я не пропустил, как он вошел в воду. Мне показалось, что слишком звонко. Вода как будто взвизгнула. Я увидел только отцовские ноги, на вид больно шлепнувшиеся по воде икрами. В том месте, куда он прыгнул, медленно поднимались пузыри. Потом я увидел под водой бордовое отцовских плавок. Облегченно выдохнул. Только плавки все увеличивались и были уже размером с пляжное полотенце. На плавки быстро сплылись лупоглазые бычки, прятавшиеся под буной. Обычно я ловил их на самодельную удочку из бамбука и лески: насаживал на крючок размозженную камнем мидию. Бычки всегда казались очень голодными и не заставляли себя долго ждать.

Мать тогда, кстати, успела сделать фотографию, но никогда мне ее не показывала.

\*

Я все еще стоял рядом с отцом. Белое небо успело надорваться в нескольких местах голубым. Толстая чайка пролетела над самой воды, затем резко взмыла вверх и уселась на перила санаторного балкона.

Я опомнился только когда мой рот ответил отцу словом — «Аэрарий».

Голос был как будто не мой, такой ясный и взрослый. Я с опаской взглянул на отца. Он смотрел себе под ноги и тяжело выдыхал сигаретный дым. Вдруг он взял меня за запястье. Под его пальцами отзывчиво зашуршал полиэстер. Я вдруг заметил, что виски у отца почти полностью поседели и светились рядом со смуглой кожей. Уголки глаз блестели и выглядели объемными, как под лупой. Такой большой и печальный он, отец. Как задыхающийся выброшенный на берег кит, которому никто уже не сможет помочь.

Странно ощущалась отцовская рука на моем запястье. Его прикосновения, если и случались, то были резкие, хлесткие и болезненные. Я не ожидал от отца мягкости. Никогда, даже в мои дни рождения, он не пытался неловко меня приобнять. Будто всегда оберегал свою стерильность. От чувств. От слов. От меня. В другой раз я бы испугался — но сейчас на пляже было по-другому. Я знал, что так должно быть. Что все будет хорошо.

Отец устало улыбнулся мне. Я вдруг почувствовал, как мое горло охватило тугим кольцом. Потерять язык. Какая же, должно быть, холодная тишина у него внутри. Как он отчаянно бегает в темноте по кругу и никак не может выбраться. И даже винить ему в этом некого.

Я почувствовал что-то, но не смог сразу найти для этого название. Я как будто просто осознал, что я есть. Что отец тоже есть. И мир этот вокруг есть. Я понял, как все это между собой связано. Я видел это тогда так четко, будто прочел в какой-то книге правды. Увидел, как мы — символы — разветвляемся в какую-то сложную, но логичную схему. От «Berge» выходит «Geborgenheit». От отца — я. Никаких границ и вечное повторение.

Мне показалось, что мне не нужны слова, чтобы понимать отца. Что есть другой путь.

Мы стояли так еще какое-то время. Близко, молча. Отец достал изо рта дымящуюся сигарету. Вокруг нас вились запахи: собаки и табака. Мне захотелось, чтобы на мой следующий день рождения отец меня обнял.

Вдруг моей руке стало необыкновенно тепло. Уголки отцовских губ поползли вверх и оголили желтоватые зубы. Табачная медуза ужалила меня в нежное между большим и указательным пальцем — в угол буквы «г» на языке жестов. Сигарета погнулась о мою кожу, сама превратилась в «г». В голове замелькало:

Golpe[6]

Гнев

Gewalt[7]

Горечь

Grief[8]

Глупость

Guerre[9]

Гибель

Gabbia[10]

Граница

От сигареты на белой коже остался аккуратный темно-бурый кружок. Я открыл рот, чтобы заорать от боли, но не смог выдавить ни звука и только хрипло выпустил воздух.

— Аэрарий, б\*\*\*\*, — пугающе чисто, не запинаясь, произнес отец.

[1] Защищенность, безопасность (*нем*).

[2] Дикий, варварский (*франц*.).

[3] Пока, прощай (*исп.*)*.*

[4] Жизнь — сказка в пересказе  
Глупца. Она полна трескучих слов  
И ничего не значит.

(У. Шекспир, «Макбет», акт 5, сцена 5. Перевод Б. Пастернака).

[5] Иди домой (*итал*.).

[6] Удар (*исп*.).

[7] Насилие, власть (*нем*.).

[8] Горе, печаль (*англ*.).

[9] Война (*франц*.).

[10] Клетка (*итал*.).